

МАРТИНЕ А.

КОНТИНУУМ И ДИСКРЕТНОСТЬ*

Всегда возможна ситуация, при которой самые просвещенные умы поддаются соблазну обратиться к бинарности противопоставления даже в том случае, когда речь идет уже не об элементе какой-то системы, а о сложившемся у них представлении об отношениях между человеком и окружающим миром. Поэтому можно утверждать, что проблема бытия (existence) предстает перед нами именно в терминах дуалистической системы «человек — мир»; человеку, однако, кажется, что он не может преодолеть субъективное восприятие вещей и постичь их подлинную сущность.

После того как лингвисты открыли возможность вычленять в процессе языкового функционирования определенные дискретные единицы, получившие название фонем, им захотелось эту дискретность фонем — подтверждение дискретности означающих — противопоставить континууму доязыкового опыта, т. е. такому континууму, в котором отдельные элементы упорядочивались бы только на основе референции по отношению к значащим единицам языка, предназначенным для сообщения об этом опыте другим. Итак, вначале перед нами всего лишь неопределенность, и только наложение языковой сетки (*grille langagiere*) дает возможность установить дискретные единицы. Если даже впоследствии мы и подвергнем сомнению наше представление о данных реалиях, следует признать, что оно тем не менее уточняет то восприятие языковых фактов, которое сыграло положительную роль на том или ином этапе исследования. По крайней мере для некоторых из нас такой подход дает возможность восстановить процесс постепенного построения в нашем сознании картины мира, при этом всякий раз, когда тот или иной элемент действительности выделяется из своего окружения, он получает наименование. Я мог бы в этой связи привести одно мое личное наблюдение. Был последний день июля 1914 г. В нашем городке в горах Савойи уже весьма отчетливо ощущалась та международная напряженность, которая вскоре завершилась всеобщей мобилизацией. В тот день занятий в школе не было; учителя и ученики разбрелись по лугу перед школой. Мне было тогда шесть лет. Сидя в траве, я внимательно рассматривал какое-то растение с широкими плоскими листьями. И вдруг кто-то рядом со мной произнес слово *подорожник* (франц. *plantain*). Собственно, эта трава не была для меня чем-то неизвестным, и ее название не было для меня неожиданностью. Однако это растение как бы выделилось для меня среди зеленого ковра луга лишь с того момента, когда было произнесено его название. Разумеется, сам этот факт запечатлелся в моей памяти только благодаря ощущению серьезности момента.

Из сказанного не следует, однако, делать вывод, будто знание наименования предмета позволяет человеку идентифицировать предмет или вос-

* © Melanges en l'honneur d'Alphonse Juilland // Stanford French and Italian studies. 1988. 53.

становить его место в ряду смежных понятий. Конечно, если вам покажут какой-то незнакомый инструмент, то потребуется определенное усилие, чтобы вызвать в уме если не точный термин, то по крайней мере какое-то уже известное родовое наименование, *machin*¹, а это не что иное, как способ, не затрудняя напрасно память, пожертвовать при необходимости означаемым для определения знака. Впрочем, имеются примеры осознания сущности предмета без опоры на соответствующий термин. Когда утом я бреюсь, я прекрасно знаю, что на моем лице есть определенное место, требующее особой осторожности при бритье. Речь идет о пространстве, которое сверху ограничено основанием челюсти, а ниже на уровне гортани переходит в шею. Я слышал, что в немецком языке австрийцев есть специальный термин, обозначающий это пространство. Но вот уже почти шестьдесят лет, как при бритье я обрабатываю это место, спокойно обходясь без какого-либо особого термина, обозначающего его.

Л. Прието не раз напоминал, что наше восприятие мира опирается на множество ассоциаций, которые мы легко устанавливаем без всякого специального обозначения. Итак, вовсе не нужно слов, чтобы действовать; все должно быть в сознании, если, например, нам надо понять поведение животного. Для животного, как и для человека, дискретный «произвольный» знак в соссоровском значении термина возникает тогда, когда исчезает мотивированная обусловленность жеста: кошка знает, что стоит ей вонзить когти в обивку кресла, как последует соответствующая реакция окружающих ее людей; и кошка усвоила, что эта реакция состоит в том, что тут же открывается окно, через которое она может выскочить в сад.

Если очевидно, что членораздельная речь является самым эффективным средством для проникновения в неопределенность опыта, то усматривать в ней единственную возможность для достижения этого все же было бы неверно. Прежде всего наряду с членораздельной речью имеется множество иных средств — плодов изобретательного человеческого ума, — функциональная тождественность которых является результатом осуществления тех видов деятельности, обучение которым, как и применение, не обязательно предполагает использование речи: вспомним хотя бы о плетении корзин, т. е. о деятельности, которая предполагает овладение некоторыми приемами, которым можно научиться скорее путем подражания, чем при помощи самых обстоятельных объяснений.

Однако наибольшей ингерентной прерывностью характеризуется функционирование самого мира. Вспомним, в частности, о разнообразии видов, о том факте, что биологическое воспроизводство возможно только в рамках определенных групп. Так, имеется биологический вид «лошадь», который существует и выделяется не только потому, что человек умеет обобщить те особенности, которые отличают одну лошадь от другой, но и потому, что род лошадей может воспроизводиться как таковой. На первый взгляд, ничто как будто не мешало объединить под одним термином и осла, и лошадь, которые различаются, казалось бы, только ростом. Однако тот факт, что при скрещивании лошади и осла получаются бесплодные гибриды, мулы, заставляют настаивать на различиях между ними, что и находит отражение в языках.

Здесь, как кажется, побеждает здравый смысл, в соответствии с которым классы обозначаемых предметов возникали раньше слов, которыми их именуют. Против этого упрощенного взгляда, как известно, и была

¹ *Machin* (франц.) — предмет, название которого в данный момент не приходит в голову (*Примеч. перев.*).

направлена теория Сэпира — Уорфа, к которой примыкают неогумбольдтианские концепции. Не может быть сомнений в том, что каждое общество так организует свой мир, чтобы удовлетворять свои потребности в самом широком значении слова, потребность в пище, обзаведении потомством, в защите от ненастья, хищников, скрытых страстей, и свидетельства этого хранятся в языке. Нельзя, однако, и отрицать, что реализоваться все это может только в зависимости от условий среды обитания, ее фауны, флоры, земных и подземных полезных ископаемых. И всюду природные дары и плоды культурной деятельности человека предстают в тесном единении. В любом языке можно найти обозначение и первых и последних, т. е., с одной стороны, обозначение реалий, при появлении которых человек выступал лишь в роли свидетеля, с другой — плодов его рукотворного или умственного труда. С одной стороны, и инертная материя, и живая природа предстают в своей специфике. С другой стороны, предметы и понятия, задуманные и созданные для определенных целей, обретают свою ценность только в соотношении с этими целями. Отсюда в словаре каждого языка два полюса: на одном место для банана, на другом — для демократии.

Идентификация банана не представляет никаких трудностей. Если даже цвет его может меняться в зависимости от сорта или степени зрелости, его форма остается характерной, а вкус и запах не забываются. Ассоциативная связь между наименованием и предметом или, если хотите, формирование знака *Banan* возникает проще всего при непосредственном контакте с предметом. Образ предмета будет возникать отныне при произнесении слова *Banan*, а восприятие означаемого /*Banan*/ немедленно вызовет представление о предмете. И никогда, в каком бы контексте говорящий субъект ни услышал этот термин, он не усомнится в правильности своей первоначальной интерпретации его.

Очертить, значение термина *democratie* — это задача более трудная. Демократия, как говорится, не есть что-то осязаемо материальное. Стоило бы, может быть, для объяснения термина *демократия* воспользоваться дефиницией: «La democratie est le gouvernement du peuple par le peuple» («Демократия — это управление народа народом»). Но вполне возможно, что раньше чем говорящий услышал это ясное определение, он встречал указанный термин в контекстах, столь ярко окрашенных эмоционально (одобрением, сдержанностью, отвращением), что он не сможет приписать слову точного значения. Неясно, как в подобной ситуации сделать термин *демократия* понятным, а такой способ, как формирование значения термина на основе контекстов, привносит столь разнообразные коннотации, что термин становится почти непригодным для точного обозначения понятия.

Большинство лексических элементов языка располагается, как мы видели, между двумя крайними полюсами.

В том случае, когда речь идет о названии такого хорошо знакомого вида животных, как, например, лошадь (франц. *cheval*), то не известно еще, свяжет ли ребенок, услышавший *Dэуа1/*, данное наименование именно с этим животным, а не с каким-нибудь другим объектом окружения, даже если он видит перед собой лошадь. Вполне возможно, что те или иные обстоятельства могли оставить неизгладимый для говорящего след в значении, которое соответствующий знак будет нести для него отныне. Если использование того или иного слова должно сопровождаться строго определенными реакциями любых слушающих, то у последних сохраняются его коннотации. И все же скорее не новые обстоятельства, в которых го-

ворящий снова столкнется с референтом имени, а речевые контексты, в которых он обнаружит знак *cheval*, дадут ему возможность выделить общепринятые значения этого слова.

Для каждого из нас, впрочем, речь идет не столько о том, чтобы «описать эти значения», сколько о том, чтобы выделить типы контекстов, в которых можно по праву употреблять упомянутое слово. Только лингвист ставит перед собой задачу выделения соответствующих значений. Обычный же говорящий употребит данное слово потому, что именно оно в данном случае кажется ему наиболее подходящим, а по опыту он знает, что в приведенном контексте собеседник поймет это слово так же, как он сам его понимает. Или другой пример: франц. *rouge* «красный». Обращаясь к слушающему, говорящий, который произносит фразу *Mets ta robe rouge* («Надень твоё красное платье»), чтобы обозначить именно тот вид одежды, который он хочет видеть на своем собеседнике, выбирает слово *rouge* из целого ряда определений, которые не обязательно обозначают цвет: наряду с *verte* «зеленое» или *no ire* «черное» могло бы быть *gayée* «в полоску», *longue* «длинное», *montante* «закрытое» или синтема типа *apois* «в горошек», *a volants* «с воланами». Тот же человек в ресторане закажет *un picket de vin rouge* («бокал красного вина»), когда возможен выбор между *Blanc* («белое») и *rose* («розовое»). Можем ли мы отождествлять *rouge* в сочетаниях *robe rouge* «красное платье» и *vin rouge* «красное вино»? Выбор между *rouge* и *verte* в первом случае и между *rouge* и *Blanc* во втором не выходит здесь за пределы обозначений цвета. И на соответствующие вопросы собеседник, конечно, ответит, что в первом случае речь шла о цвете платья, во втором — о цвете вина. И такой ответ мог бы оправдать тот факт, что в синхронии мы не воспринимаем эти два слова *rouge* как омонимы. В то же время синтаксический статус сочетаний *robe rouge* и *vin rouge* не одинаков: *robe rouge* «красное платье» — это синтагма, состоящая из двух свободных номем, тогда как *vin rouge* «красное вино» — это синтема, состоящая из двух присоединенных номем, образующих единое целое, которое само по себе способно распространяться определениями: вино не может быть более или менее красным, но цвет красного вина может быть более или менее насыщенным. Равным образом, перед нами только одна синтема во фразеологизме *Il a vu rouge* «Он вспылil», букв. «Он увидел красное»: нельзя сказать **Il a vu plus/ moins rouge*. Более того, *rouge* здесь уже не может коммитироваться или использоваться с такими наречиями, как *blen* «хорошо», *mal* «плохо» или *clair* «ясно». Так что же, кроме весьма стабильного означаемого, /ruʒ/, позволяет сохранять тождественность номем во всех приведенных употреблениях, если не тот факт, что визуальный характер восприятия красного остается маркированным даже в синтеме *voir rouge*, хотя здесь скорее реальна связь с *colere* («приступ гнева»), чем с видением в красках.

Но если нам удастся доказать тождественность значений *rouge* в приведенных контекстах, можем ли мы утверждать то же самое (в синхронии и для всех носителей языка) в отношении слова *table* «стол /мебель/; еда; скрижаль; дека; таблица; реестр» и т. п., где это оправдано этимологически, но отрицать в отношении слова *fraise*, где формальная идентичность — результат неоднократной паронимической аттракции — приводит некоторых носителей языка к смутному представлению о некотором семантическом единстве даже при столь разных значениях лексемы *fraise*, как 1) «ягода клубники», 2) «брыжейка телянка», 3) «подвесок под клювом индюка», 4) «бур» и даже «лицо», а также «(неуместное) вторжение» во французском фразеологизме *ramener sa fraise*. Лексикограф, задача которого сооб-

шить нечто читателю, непременно должен выйти за пределы информации, поступающей из речевого поведения или ощущения рядового носителя языка. Лингвист же, который стремится понять, как функционирует язык, не может, видимо, удовлетвориться реакцией на то или иное использование языка со стороны ученого или интеллигента. Ему нужно выяснить, прежде всего, с точки зрения лингвистики, каким образом могут общаться говорящие, совершенно не отдающие себе отчета в том, каков механизм общения. Естественно, что для говорящего формальная тождественность означающих является основой организации значащих единиц, ХОИН это не мешает ему видеть функциональную тождественность столь внешне разных означающих, как *va*, *all-*, *aïlle* и *i-* — моремы *aller* «идти», а также и не заставляет объединять омонимы и многозначные лексемы. Французский язык прекрасно функционирует как в устах говорящих, которые не осознают супплетивизма форм глагола *aller*, так и говорящих, которые никогда не задумываются над тем, чтобы сблизить значения лексемы *table* «кухонный стол» и *table* «таблица умножения».

Конечно, мы понимаем значение всего этого, когда мы говорим о возможности парадигматической структуриации означаемых. Любое усилие обнаружить здесь тот тип организации, который был выявлен для означающего с его последовательностями фонем, морем или, шире, различительных единиц и значащих единиц, естественно, встречает сопротивление, ибо функция различения здесь не имеет места. Подобное усилие вполне может оказаться безуспешным; исключение составляет разве что область сигнификативных единиц, которые могут достигнуть самой высокой степени абстрактности. Мы относим к ним так называемые «модальности» (*modalites*), которые представляют собой нечто конечное, к которому не может быть никаких добавлений. Сюда можно отнести, например, множественное число в категории числа, прошедшее время в категории времени, совершенный вид в категории вида. Мы снова оказываемся в сфере дискретного, которая была вскрыта на основе фонологического анализа: перед нами фиксированное число единиц, которые, по Соссюру, суть именно то, чем не являются другие единицы того же класса замещения.

Еще один тип элементов, которые вместе с «модальностями» относят к области грамматики, — это коннекторы, или индикаторы функции, т. е. элементы, возникновение которых обусловлено наличием двух сегментов речи, связываемых друг с другом. Как и «модальности», они могут иногда достигать высокой степени абстрактности: можно указать в этой связи на франц. *a* как обозначение приближения, *de* как обозначение отдаления. Однако они не свободны от свойственного любому языку стремления отразить бесконечное разнообразие в окружающем мире. И если при этом мы начинаем обычно отсчет с элементов, которые как бы самодостаточны в высказывании: англ. *up* \ «вверх!», *down* \ «вниз!», франц. *dehors!* «вон!», *oustel* «брысь!», то вскоре отсчет начинается уже не только с адвербиальных конструкций (т. е. определений предикатов), но с совершенно новых элементов связи. Иными словами, нельзя, видимо, ставить вопрос о том, чтобы раз и навсегда определить число связей, поддающихся объяснению: наряду с шестью падежами латинского языка или четырьмя немецкого используется целый набор предлогов, которые их дополняют или даже заменяют, обрстая в свою очередь синтематическими комбинациями, нередко избыточными: *au cours de* «во время», *en depot de* «вопреки», *histoire de* «ради», что ведет к неизбежной потребности отразить в языке, в его лексиконе бесконечное разнообразие опыта. И даже если этот опыт — еще до сопоставления его с ресурсами данного языка — не может, по-види-

тому, рассматриваться как завершенный континуум (поскольку простое восприятие имплицитно начало анализа), этот опыт будет вносить путаницу в языковой материал, который может служить его выражением. Перед лицом такой перспективы формалист, возможно, растеряется, если, конечно, не оставит это просто и решительно без внимания. Откажутся, конечно, все те, кто настаивает на том, что только синхрония, объективно представленная, должна быть динамичной и точно отражать изменения, возникающие в языковом поведении. Многие же утешатся тем, что сочтут невозможным свести к определенному числу смысловых категорий все множество означаемых языка.

Перевела с французского *Лухт Л. И.*